

Галина ЩЕРБАКОВА

# Наша ИЗРАИША



Галина Щербакова

**Наша ИЗРАша**

«Издательские решения»

**Щербакова Г. Н.**

Наша ИЗРАша / Г. Н. Щербакова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832886-2

«Нет более спаянных в средостении народов; чем больше мы разбегаемся, тем сильнее натяжение. Есть в этом божеское предопределение: евреи не поняли Христа, не признали за своего, а мы стали христианами. Русский с китайцем братья навек — это песня. А русский с евреем — это жизнь, это — никуда не денешься, даже если разобьешь к чертовой матери горшок и эмигрируешь. Все равно он — там! — будет сидеть, прильнув ухом к приемнику, а я здесь вымерять кусочек пространства по карте, но это кусочек меня...»

ISBN 978-5-44-832886-2

© Щербакова Г. Н.  
© Издательские решения

## Содержание

Междусловие составителя	7
«Человек сам себе выбирает воздух»	8
Степь (Израильская)	12
«Разве что евреев можно поставить с русскими рядом»	15
Лизонька и все остальные	17
«Еврей – человек поступка»	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Наша ИЗРАша

## Галина Николаевна Щербакова

*И сказал Бог Аврааму: «Уходи из страны твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в страну, которую я укажу тебе. <...> И ты будешь благословением»*

*(Танах)*

© Галина Николаевна Щербакова, 2016

ISBN 978-5-4483-2886-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Когда я поняла, что горя мне не избежать, я сказала: тогда пусть это будет Израиль. Ну, во-первых. На карте расстояние от Москвы до Тель-Авива приблизительно такое же, как до Новосибирска, с мою ладонь. Поэтому получается, что дети будут на кончиках моих пальцев, а уедь они в Америку там, Канаду?.. Какие же пальцы надо иметь!*

*У первого мужа от волнения голос зафальцетил как у подростка, которого напугали. «Ты сошла с ума!» – сказал он с удовлетворением, из чего я заключила, что эта выношенная и готовая к реализации мысль горло ему распирала давно, но, что называется, не было случая сказать. Я ответила ему: расстояние с ладонь, проверено на карте. О чем говорить? Голос бывшего мужа стал еще тоньше, как будто на глазах (на ушах?) он превращался из испуганного подростка в младенца. В нем включился обратный ход времени, и надо было успеть понять его последнюю взрослую мысль на исходе окончательного превращения.*

*Выпискнулось! При чем тут они, дети? Тем более, если уедут. Речь идет о нас, о тех, кто остается. Думала ли я – идиотка, кретинка, эгоистка, идеалистка, задница, сволочь – об этой стороне дела? Как мы будем объяснять тем, кому надо, если нас спросят? Ты же не думаешь, что эта демократическая вольница будет вечно? Она кончится, она уже кончается. А ты останешься навсегда повязанной не с Америкой, а с государством, с которым нет отношений (тогда их действительно не было). При чем тут твоя ладонь? Да будь хоть мизинец, хоть ноготь!*

*Потом эта тема возникала в разговорах с разными людьми. Эдакая бесконечная вариация оттенков, нюансов – и все в основном черного... Куда угодно, но не в Израиль. Мало ли что? Вон Бродский (Бродский!) не захотел там жить. Севела. А ничего себе мужики, с именами. А эти из «Литературки» – Перельман и Суслов, первопроходцы эмиграции. Где они сейчас, где?*

*Кстати, не зная их, я очень хорошо помню, как все было. Я тогда тоже была своеобразной эмигранткой: в Москве – из периферии. И могу поклясться: ломка, которая была здесь со мной, вполне сравнима с проблемами истинных эмигрантов. Ну и что, что язык тот же? Разве на одном и том же языке не говорят по-разному? О! Это такая трагедия – разный общий язык! Лучшие бы уж мычали рядом или пересвистывались.*

*Так вот, в этот мучительный мой эмигрантский период, в том моем состоянии «чиканос», слуха коснулась весть: два крутых мэна «Литературки» наострили лыжи. И захлебнулась свобододолюбивая «Литературка» кашлем. Я боюсь путаницы во времени, но в сегодняшнем восприятии все было одновременно. Тогда же за границей остался писатель Анатолий Кузнецов.*

*Хорошо помню дрожащий подъязычок распахнутого рта одной сотрудницы, которая «на основании последних текстов» бежавшего Кузнецова доказывала нам, что он бежал дано. Так сказать внутренне. Внутренний эмигрант. Я услышала впервые эти слова; в узком и темном коридоре «Литературки» вертели на пальцах ключи от своих келий тогдашние ее дамы и господа, и от них от всех шел жар. Меня это не касалось, я была чужой в этом бомонде,*

но жар чувствовала. Оставшись одна в кабинете, я даже пыталась разложить этот жар на огни и угли. Потому что сгорали друг в друге зависть и злорадство, гнев и надежда. Да мало ли что еще.

«Эх вы! – думала я, наблюдая за пышущей толпой. – Недоумки!» Они все казались мне живущими мимо жизни. Разве знали они, как корчится в муках провинция, уже равно не различая, смерть ли это или роды. Как пытается соответствовать своему представлению как должно тамошняя интеллигенция. Как она стыдится своего аппетита, потому что на периферии уже дано ничего не было и, приезжая в Москву, чеховские сестрички набивали чемоданы крупной и макаронами, а не Белинским и Гоголем. Моя родная тетка, вскормленная столовой на Грановского, криком кричала на мои продуктовые узлы. Мне же надлежало сходить в музей там, мавзолей, а я скупала супы в пакетах на Сретенке.

И если у кого-то получалось – корни рвали безжалостно. Из моей ростовской редакции шестидесятого года – девяносто процентов тут. Из волгоградской – треть.

Это была эмиграция. Выход на чужбину Москвы. Это была проба сил. И когда моя родная периферия тронулась с места, Москва трогалась с места тоже.

Одни эмигранты стали занимать места других. Ну хорошо, ты пробил головой стену в камере, что ты будешь делать в следующей? Ох, этот Ежи Лец! Откуда он все знал?

Но я возвращаюсь к моменту пересечения собственной эмиграции с, так сказать, настоящей, истинной. Потому что какая мы (периферийные) к черту эмиграция, мы совсем другое слово, которого тогда еще не было, но которое уже рождалось. Лимита. Рабочая. Интеллектуальная. И более того, даже партийная – с квартирой и прокормом, но тем не менее... Но это а пропо... А я о дрожи земной коры, которая не вчера возникла и не завтра кончится, истоки которой в поисках спасения, в том безотчетном желании «бежать», которое стучит-постукивает в самом средостении нашей жизни.

Прадед моего сына по отцовской линии бежал из Чехии в Россию в поисках крестьянской земли.

Мой дед бежал от земли в город, отрекаясь от крестьянского умения и дела.

Мой отец бегал в тридцатые по стране из региона в регион, боясь засидеться и «застрять».

Мой отчим (отец-то бегал) убежал в Тбилиси с Волги от скорняжьего ремесла, боясь быть обвиненным в частном бизнесе.

Предки носились по земле как оглашенные и – да поможет им Бог на небе – не обрели на этом свете ни достатка, ни покоя.

И вот мой сын в девяностом году сказал: «Тут жить нельзя». И я сказала ему: «С Богом!»

В конце же шестидесятых я верила, что мой приезд в Москву остановил этот запальный шнур, и мы осядем, пустим корни. Потому что созидание требует покоя и места. Как же я всегда хотела покоя и места!

... – Только не Израиль, – кричал бывший муж. – Нашла место! Надо искать пути в Америку.

## Междусловие составителя

Мне казалось, слово «междусловие» – изобретение Галины Щербаковой. Но, по привычке проверяя факты, я обнаружил, что раньше Галины его сделал российский писатель первой трети прошлого века Константин Вагинов в романе «Козлиная песнь». Щербакова объясняла понятие просто: «Если есть предисловие и послесловие, то почему бы не быть междусловием?»

В начале нынешнего века некое московское издательство захотело объединить под одной обложкой две повести – «Вам и не снилось» и «Мальчик и девочка». Между их написанием прошло 20 лет. И автору хотелось проложить для читателя мостик над этими временами: «От Черненко (если кто помнит сию фигуру) до Путина, от талонов на треску и ковры и песни „Мой адрес – Советский Союз“ до десятилетней войны с собственным народом, обилием семги и пластиковых стеклопакетов». Однако книга обошлась без этого пояснения. А мне захотелось применить придуманный Галиной способ «междусловия» к этому сборнику ее сочинений.

Мысль о нем появилась, когда я, перебирая в ящике ее письменного стола беспорядочные «почеркушки» – начала несостоявшихся рассказов, очерков, нечаянные соображения, наскоро зафиксированные на подвернувшихся бумажках («на потом», на будущее и т. п.), – стал откладывать в стопочку все относящееся к Израилю, еврейству, его взаимоотношениям с рускостью – в ее восприятии... Стопочка оказалась изрядной и напомнила аналогичные мотивы в прежних сочинениях писательницы. Они многообразны. Но их сердцевина – в следующих словах: «Нет более спаянных в средостении народов, чем больше мы разбегаемся, тем сильнее натяжение... Русский с китайцем братья навек – это песня. А русский с евреем – это жизнь, это – никуда не денешься...» И еще: «Я в Израиле была трижды. Первую свою поездку в свое время описала подробно. И только сейчас обратила внимание: мои впечатления там были насквозь о России, о больном моем отечестве».

Если кому такое неинтересно – закрывайте книгу. Меня же ее русско-еврейские помыслы и чувства увлекли. И я взял на себя труд расставить воплотившие их тексты в таком порядке, какой мне показался логичным.

То, что в печати появляется впервые, выделено курсивом.

*А. Щербаков.*

## «Человек сам себе выбирает воздух»

У меня есть внук, который живет очень далеко, не в России. И я одно время писала внуку сказки. Причем, писала «продолжение следует», задавала какие-то вопросы. Я была наивная, мне хотелось, чтобы он не отрывался от России. Но это чепуха. Письма идут по три месяца, потом назад три месяца – естественно, сказки забываются. Хотя у меня, когда я стала ему писать, было в мыслях: может, я напишу сказки бабушки Арины. Но ничего не вышло, потому что не было упругого восприятия.

– А как внук оказался там?

– У меня кроме дочки, старший сын, который однажды пришел и сказал: «Мамочка, я в этой стране что-то приустал. И мы решили с Лерочкой (его женой) уехать». Что они и сделали.

– Вы у них были?

– Была.

– И как они?

– Очень сложно. Там жить тяжело. Нас там очень много. Израиль, мне кажется, совершил большую ошибку, решив с такой готовностью принять такое количество мигрантов. Потому что он не может им дать полноценной жизни. Мой сын врач, и то, что он работает по специальности, – просто редкость. Мои дети живут хорошо, они хорошие специалисты, хорошо работают, у них все в порядке. Там оказалось очень много знакомых людей.

Израиль – странная страна. С одной стороны, она удивительная. На камнях и песке выращивается такое количество овощей и фруктов, экологически чистых, что они кормят всю Европу. Имея одно маленькое озеро, к каждому кустику подвели в маленьких шлангах воду. И нет ни одной деревни, где бы не было великолепных теплых сортиров с канализацией. Там вначале строят сортир, а потом вокруг него строится дом. У них культ чистоты и гигиены. Мне этот порядок, этот культ воды очень нравится. Но, с другой стороны, это очень идеологическая страна. Надо, чтобы все в жизни сложилось, и тогда ты этот идеологический пресс не ощущаешь. Мой сын был инфекционистом. Когда он приехал, ему сказали: вам надо переучиваться. Потому что там этой беды нет. Казалось бы, жара, все время фрукты, там должна быть дизентерия естественна, как дыхание, как в Астрахани, как в Волгограде. Но там этого нет.

– Как сложилась ваша жизнь? Может, не так, как хотелось?

– Она сложилась так, как я вообразить себе не могла. Мы как-то представляем себе, что будет завтра, послезавтра. Самый последний идиот планирует, что-то рассчитывает, фантазирует. Выяснилось, что все мои фантазии близко не подошли к тем результатам, которые я имею на сегодняшнее число, на 19 апреля. Могла я себе вообразить, что мой любимый сын, моя любимая невестка, мои дети, которым я выстроила на «Вам и не снилось», истратив все деньги, кооператив, покинут Россию? Что в какой-то момент сын принесет мне в полиэтиленовом пакете сумасшедшую сумму – семь тысяч рублей. Потому что, когда он уезжал, продал квартиру за семь тысяч. Я к этим деньгам не могла притронуться. У меня было ощущение, что это не деньги, а мой прах после кремации. И я их засунула за какие-то книжки. Но потом я их истратила. Я могла это себе вообразить? Нет. А мой сын мог вообразить, заканчивая здесь аспирантуру, защищая кандидатскую диссертацию, что в какой-то момент придет и скажет: «Мама, все, я здесь больше не живу». У меня же был вариант броситься ему в ноги и сказать: «Сыночек, через мой труп». Я допускаю, что за мной бросились бы в ноги родители Лерочки. Я сказала: «Сынок, если ты так считаешь – уезжай». Кому от этого лучше? Я не знаю.

– Всю жизнь боялась и боюсь за своих детей. Я рожала их как счастье и одновременно рожала страх. Не могу изжить этот страх, сколько живу, а недавно узнала: одна женщина даже обратилась к матери Терезе с подобной проблемой, и та ей ответила: «Значит, бойся».

Старшему сыну, Саше, представьте, уже сорок. И собственных сыновей у него аж трое. Он, так получилось, практически вырос в редакции, и я просто поразила его словам: «Мама, у меня было самое счастливое детство». Он хотел пойти на журфак, но я настояла, чтобы он поступал в медицинский, будучи уверенной – журналистом стать никогда не поздно и при любом образовании. В результате он так и остался врачом. Жена его, Лера, тоже врач. Семь лет назад они уехали в Израиль... Для меня это было трагедией: увозили внука. Но сын сказал: «Мама, жить здесь – себя не уважать». Он уже не мог унижаться в магазине из-за куска еды... Это было отвратительно. Заказы. Списки. Талоны.

Я считаю, что телевидение не дорабатывает. Когда показывают Зюганова со товарищи, надо тут же показывать даже не 29-й или 37-й, а 1990 год и магазинные полки с бесценными хмели-сунели на первое, второе и третье. Апофеоз коммунистической идеи.

Дети подтвердили свои медицинские дипломы – это там большой успех. Но сыну пришлось менять специализацию. Здесь он был врачом-инфекционистом. В наших условиях сто-процентно востребованное дело: у нас же всю страну, пардон, несет. Для Израиля это не актуально. Простое расстройство желудка лечит любой терапевт, если же, не дай бог, у кого-то вдруг обнаружится гепатит, отправляют к «ближайшему» специалисту – в Лондон, например. Так что сын сейчас – реаниматолог в крупной клинике. Лера – домашний доктор, там это распространено. На чужой земле у меня родилось еще двое внуков: одному три годика, он ходит в частный детский сад, маленькому еще и года нет, к нему приходит няня. Вы бы видели эту няню! У нее на лице написана докторская диссертация, немолодая дама, тоже из бывших наших. Невестка сидеть с малышом не может: послеродовой декретный отпуск – два месяца, как когда-то у нас, а дальше теряешь место. В общем, работают они там, как ломовые лошади, встают в пять утра. Жизнь у них – честная, нестыдная. Я плачу, что не здесь.

*(«И вся остальная жизнь»)*

*Один очень хороший мальчик, покидая нашу несчастную землю, сказал мне, что в любой стране, куда его ни занесет судьба, он станет хорошим гражданином. «Я буду ее любить». Но как? Как ты можешь знать? – вскрикивала я. – Что это за любовь – по переписке, что ли? Патриот-заочник? Как можно быть заранее уверенным в любви?*

*– Можно, – сказал он. – Для этого нормального человека надо всего-навсего довести до ненависти. Подчеркиваю – нормального, то есть открытого для любви. Но у него на эту открытость села задница системы и смердит, смердит, смердит. Освобождение от ненависти – и есть обретение любви.*

*Больше я никому никогда не задавала вопросов, почему... Человек сам себе выбирает воздух.*

*Поэтому я проводила детей. Я перекрестила их, хотя делаю это неумело и плохо. Я помню, как хотела перекрестить сына на его свадьбе, казалось это очень важным для меня, но вокруг толклись и пялились какие-то бойкие парни из стройотрядов. Мать и заробела. При отъезде же перекрестила. В соседней комнате выла моя остающаяся дочь, выла по всем правилам этого давнего искусства провожания. И я еще подумала, откуда она это знает? Неужели хранится в человеке вой на такой вот случай, когда вольно-невольно, а проступают пятнами, как письма на вальтасаровом пиру, слова – никогда и насовсем?*

*Именно, чтобы смыть ужас этих пятен, мы поперлись в гости раньше мною же обозначенного срока – три года. Три года, чтоб им понять, принять и прорасти на чужой земле. Мы рванули через год.*

*В отстойнике-накопителе к нам хотел присоединиться молодой человек из Киева. Он летел в Израиль уже не в первый раз и искал себе попутчиков «до самого места», но мы ему не подошли. «Тебя бы сюда, дуру, – подумала я о дочери, – выла неизвестно чего! А паренек*

летает из Киева в Израиль туда-сюда, как в Люберцы и обратно». Вообще молодых в отстойнике много. Совсем молодых. Вот опять одна «как под парусом лодка» подрулила к нам. Тоже ищет попутчиков? Ни божже мой! Ей не дальше Тель-Авива. У нее проблема. Не сможем ли мы на обратном пути, если у нас мало вещей, прихватить ее лишний вес? Дело в том, что она отправила в Израиль багаж, а ехать раздумала. Вот и приходится возвращать его частями, мотаться туда-сюда.

Они потом нашли друг друга – киевлянин и «лодка». Молодые, легкие, необремененные. Ну ладно, молодость и легкость – несчитово, это праздник, который, увы, не всегда с тобой. Необремененность... Я вот тоже в отстойнике без вещей. Но почему все время каждую мелькающую на табло секунду помню, что это «отстойник»? Слово тянет за собой не просто понятие, это бы что! Оно приводит с собой людей и животных, и уже не поймешь отчего и почему, но это из меня хочет выйти их стон, и я изо всех сил сдерживаю его в горле, за сцепленными зубами. «Вам плохо?» Ну как объяснить, что надо открыть двери и выпустить из всех отстойников детей и зверей, скажешь – и загремишь в больничку... А я должна быть здоровая, здоровая, здоровая. У меня на кончиках пальцев Израиль. Это же надо! Я родила Израилю детей... Хотя сама из отстойника.

– Не хотел говорить тебе раньше, – сказал муж, – ты бы не полетела, но их «сигуранца проклятая» вполне подстать нашей. Поэтому если тебя уведут беседовать...

– Я спрыгну, – отвечаю я.

– Это пожалуйста, – говорит муж, но ты хорошо помнишь название кибуца, который сделал нам вызов? И еще! Коротич – уже не редактор «Огонька».

Меня никуда не уводили, меня ни о чем не спрашивали, и все три недели в Израиле я выступала с концертным номером «Как меня пугал муж». Номер почему-то не вызывал интереса, его воспринимали как-то странно, отчего я, артистка (нет, чтобы замолкнуть), начала опять и снова: вот, мол, облака, вот, мол, шепот в правое ухо и вот, мол, – «Я сойду!» И хотя я нарушаю плавный ход повествования, все-таки доскажу эту историю до конца. Сигуранца в Израиле действительно дотошная. То есть – скажу вам!.. Это обнаружилось уже на обратном пути, когда прелестная девушка, униженная разными микрофончиками и пистолетиками, пыталась нас, кто мы, что мы, откуда, куда и зачем. Израильтяне боятся террористов, поэтому обязательен вопрос, не оставляли ли вы на минутку кому-нибудь ваши вещи, чтобы сходить пописать. Святое ведь дело – уберечь от бомбы. Но как и в случае с отстойником... Процедура. Способ и метод.

И уже являются к тебе и смотрят на тебя все проходившие процедуры дознаний. И уже ничего не важно. Важно только они – не вернувшиеся с процедуры, а на девочку-израильтяночку хочется заорать благим матом.

...Когда моя сватья уже после меня побывавшая в Израиле сказала, что очень довольна жизнью детей, что в общем они живут там, как и тут...

...я поняла: я все время искала разницу жизни тут и там. Для меня приобретения – в разнице. Поэтому отличиям я радовалась больше всего, даже если мое собственное сердце их не понимало. Однажды я поймала себя на мысли, что скорее примирюсь здесь с худшим, чем с его повторением там. Неужели я, как тот мальчик, ненавижу сильнее, чем люблю?

Ну что мне ответить, дура, на себе же поставленный вопрос?

Ненависть – сильное чувство. У меня нет на него сил. Любовь-страх забрала все силы. И если я мечтаю о другой жизни для своих детей, то имею в виду жизнь, где бы не было полного самозахвата страха за близких, самозахвата такой степени, когда ты растворяешься в этом страхе-вопле до полной аннигиляции.

*Когда в Израиле рвались наши снаряды, пущенные лучшим мужчиной мира (по шкале Сажу Умалатовой), я боялась гораздо меньше, чем когда дети жили в Отрадном на первом этаже. Я не верила в наши снаряды, я не верила соколиному глазу Хусейна, я знала: у них не срывает.*

*Между страхом и нестрахом, видимо, и должно пролегать государство. Человеку страшно? А мы его обороним. Не бойся, дурачок. Не бойся! Этот вариант я не проживала. Я его знаю теоретически и чуть-чуть на глазок – в Израиле.*

*Я живу в другом варианте. Оно окружило меня как врага, мое государство, оно дует на меня, шипит мне, плюется, ему лучше, когда мне страшнее. Оно культивирует мой страх, потому что, захватив и распластавшись на одной шестой земли, оно так и не поняло: что же с этим делать – с количеством земли и голов? Но раз уж стоят, рты распахнув, пугнуть их, что ли, чтобы хоть боялись?*

*Я мучаюсь этой темой количества и качества, как какой-нибудь первокурсник на сопромате. Что же это за судьба – быть большим и глупым? Неужели и впрямь Божье испытание? Ну уж нет! Ни в жизнь не поверю!*

### **(Из письма Аиде Злотниковой, Реховот, Израиль)**

Дорогая моя. Должен быть какой-то высочайший замысел, ради которого стоило идти на такие разрывы связей, какие мы все поимели. Что это произошло? Карма? Результат от прошлого? Или посев будущего при помощи наших внуков, который надо было совершить именно так, а не иначе? Я не знаю. Мне все это не нравится. Вот уезжает и моя сестра. Они получили разрешение. Теперь у меня все пополам. Половина крови у вас, половина здесь. Я ни в чем не уверена, ни в чем... Здесь трудно, непонятно, мы, сидя на одном месте, исхитрились эмигрировать в другую страну. У вас тоже не рай земной. Но, в общем, и не в этом дело – хуже, лучше. Дело в том, что мы не видимся, что цветаевская жизнь идет без тебя, а это неправильно. Что у меня внук, которого я вижу только на фотографиях, и это навсегда... Тошно зато, и хочется хотя бы понять смысл происходящего. Тем более, я-то в момент отъезда и сына и тебя не только была уверена в правильности шага, но, можно сказать, подталкивала вас к самолету. А теперь готова вцепиться в сестру и не пускать. Ты не думай, что у меня какая-то не та информация об Израиле. Отнюдь.

Что касается питания, то там им будет лучше. Но, увы, кроме пищеварительного аспекта, я не вижу ничего другого. Как она будет там без моих книг, журналов. Без нашего трепа, в котором мы в сущности только и воплощались. Бедные мы, несчастные немолодые уже леди!

*(«И вся стальная жизнь»)*

...Недавно со своей подругой еще по Челябинску мы бродили по старой Москве и хохотали, как ненормальные. Мы вспоминали, как вместе ходили в баню с портновским сантиметром и измеряли друг другу стати. Поохотав, мы по закону качелей обе повыли в голос над тем, как быстро молодость прошла. А потом снова смеялись, вдруг сообразив, что у нее, у еврейки, внук – православный христианин, а у меня, православной украинки, внуки – иудеи.

*(«И вся остальная жизнь»)*

## Степь (Израильская)

Признаюсь сразу в своем географическом идиотизме. Пустыня и степь – разные, как говорят в науке, биомы. Это я из словаря взяла. Но вот я еду по израильской пустыне – и степные воспоминания делают со мной что хотят. А я не девочка, я уже бабушка, но широта пространства по-прежнему делает со мной что хочет. Хочется растереть в руках траву из желтой земли пустыни и попробовать ее на вкус. На абсолютно синем небе я вижу пустыню как бы в зеркале, и там она у меня другая, грудастая, пышущая, сочная. Мы едем на машине по хорошей дороге, справа от нас, достаточно далеко, чтобы разглядеть подробности, стойбище бедуинов. Бродят верблюды, черные пятна лиц мужчин подчеркивают белизну одеяний. Им нет до нас дела, и это спокойное сосуществование мчащихся колес и величественных горбов навеивает какие-то странные для меня мысли. Мир сочетаем, он не враждебен, и это тем более странно, что на севере Израиля стреляют вовсю. Я смотрю на пышную грудь пустыни в небе. Я идиотка – это облака. Но откуда у них соски, готовые дать нам молоко жизни? Я отдаю отчет, что это мой обычный бред – видеть на небе некие стигматы и вздымающиеся к нему руки земли.

Мой племянник и его жена озабочены дочерью, которую тошнит в машине, и мы останавливаемся. Я выхожу на кромку дороги и вижу на ней какие-то странные проводочки, они убегают в желтую бесконечность, а я трогаю их пальцем. Их невозможно растереть в руке, чтоб понюхать и лизнуть. Они людской природы, в том смысле, что их сделали люди.

– Что это? – спрашиваю я.

– Это вода для бедуинов.

Желтая степь напоена водой, но никто не посягнул на ее исконную пустынную сущность. И это торжество здешнего правила над дурью русских засух наполняет меня странным чувством зависти к разуму, оставленному этой земле. Богатейшие пространства России умирают от безводья, а тут какие-то полудикие народы пользуются высочайшей технологией. И я, украинка, плачу на обочине еврейской дороги и думаю о странном: на меня здесь не обрушивается небо и не встает дыбом пустыня. Я гожусь здесь такая, какая я есть, меня принимает эта природа, и мне не надо с ней бороться. Тогда как в родном отечестве я всю свою уже долгую жизнь участвовала в какой-нибудь остервенелой борьбе. Против суши или половодья, за урожай или его спасение после жатвы. В моем отечестве идет постоянная борьба – то за природу, то против нее. И всем от этого становится не лучше, а хуже. А если бы у нас еще бродили бедуины с верблюдами?.. Но у нас же есть цыгане, и они делят с нами наше все.

Я подымаю голову. Мне так легко дышится, пустыня спокойна, горда и величава.

Где-то здесь, думает моя голова, только и могла зародиться жизнь. Но Боже мой! О чем это я? При чем тут это? Разве я не знаю, что именно здесь сын первого человека на земле уже убил своего брата? Дальше – не сосчитать... Но об этом я подумаю потом. Слишком хорошо сейчас. Божественно хорошо. Синее небо, дивные облака и воздух, исполненный какого-то необъяснимого смысла (воздух – смысла? Что это со мной?).

Но я заговариваюсь, вернее замысливаюсь дальше. Меня настигает, постигает или просто обрушивает ощущение веры, веры в единое начало меня и песка, бедуина и машины, солнца и земли.

Ан, не все так просто, хоть в степи под Херсоном, хоть в пустыне Негев. По шоссе, с обратной от нас стороны, едет машина. Она тормозит возле нашей, и мужчина, выйдя, спрашивает, не случилось ли что.

– Ничего, – отвечает жена племянника, – дочку укачало.

Меня, сидящую на обочине, не видно. Из машины выходит женщина и подходит к девочке.

– Хочешь сока? Минералки?

Девочка качает головой.

А я смотрю на женщину. Это дочь моей подруги Жанна Клячкина. Но это ее фамилия по отцу, потом она была, дай Бог памяти, Ситченко, потом не то Шпуцер, не то Штуцер. Кто она сейчас, я не знаю. Как не знает и ее мать. Уже лет десять тому, в самый что ни на есть дефолт, дочь бросила неудачливого в делах мужа, свою дочь-подростка, родителей со всеми их проблемами старости и уехала с этим Шпугуцером в Израиль. Дочери она пообещала, что забрет ее как только, так сразу. Родителям не сочла нужным сказать даже до свидания (такой бы подняли вой – себе дороже, объясняла она другим). С тех пор о ней ни слуху, ни духу. Одно время она слала открытки дочери, сообщая, что как только так сразу приближается неукоснительно. Потом и эта связь прервалась.

Мужчина, что вышел из машины, Шпу-Шту не был. Я видела того и даже немного знала: старый, некрасивый еврей, лживистый, хитроватый и без понятия добра и зла (они у него менялись местами в зависимости от обстоятельств); у него были деньги, а Жанка по внешности была вполне презентабельна для роли жены-содержанки. Кто был тот, что стоял по ту сторону машины, я могла только предполагать. Новый муж? Любовник?..

Какое мое дело? С ее родителями я давно не общалась. Они продали квартиру в Москве и купили домик в деревне. Опростились, стали рьяными прихожанами церкви. Внучка вышла за финна и живет где-то там, где мне было бы холодно.

Никакой удивительности судьбы, рядовой русский развал бывшей советской семьи, где нелюбовь друг к другу заложена в основание. Слишком много Ленина, слишком много Сталина, избыток красного и недостаток всего остального, продуктов, штанов, доброты. Откуда ей быть в стране победившего ГУЛАГа?..

И не мне осуждать кого-то, мой сын, единственный и обожаемый, спрыгнул с родного сеновала одним из первых. Врачует жителей Миннесоты и говорит по телефону так раздраженно, будто мы у него на хлеб просим. И где-то там растут неведомые мне внуки. Очень долго их мордочки висели у меня на стенах, пока они не выросли, но других фотографий я так и не дождалась.

Я поднялась и без надежды помахала рукой Жанне. Она шла мне навстречу неуверенно, видимо, лихорадочно соображая, что за тетка возникла у нее на пути.

– Привет! – сказала она. – Вы тетя Катя или я ошиблась?

– Нет, – ответила я и подошла, чтобы ее обнять, как ту девочку, которая росла у меня на глазах. Но она отстранилась, не демонстративно, а будто ей надо нагнуться и поправить запавший задник туфли. Я поняла, хотя в сердце кольнуло и подумалось о Миннесоте.

– Какими судьбами? – спросила она.

– Племянник здесь. Помнишь его – Миша-поехала крыша?

– Ну да, он ведь первый рванул в Израиль. А мы еще все надеялись, что в России есть умные... Это его девчонку вырвало? Я помню, Мишка тоже был тошнильный. А где ваш красавец?

Тут я вспомнила, как моя подруга вынашивала мысль поженить наших детей. И мой «красавец» сказал: «Мать, я что, мешком ударенный? Она же сука по определению».

– В Миннесоте, – сказала я. – Все у него путем.

Я увидела, как искривилось ее лицо от моей лжи. Разве я знаю, как там у сына? Разве я видела внуков? Разве он приглашал нас с отцом в гости? Наше общение – телефон на проводах раздражения. Так что не имело смысла так уж ей расстраиваться.

– У тебя-то все в порядке? Ты в новом замуже или просто тебя подвозят?

– Это мой третий. Но, судя по всему, не избежать и четвертого. Думаю, не рвануть ли в Финляндию к дочке. Ей там нравится, но, боюсь, мне будет холодно. Я полюбила солнышко.

– Детей нет?

– Вы всегда меня держали за идиотку. Я помню. Вы все время в меня тыкали Диккенсом...

– Да господь с тобой! Хотя виновата... Я сыну его тыкала, и многих других тоже. Ну, прости меня, старую дуру... Скажи (вот ведь идиотка, прости господи, ну кто меня за язык тащил щипцами моего детства), а может, вернешься домой? Знаешь, родину не дураки придумали...

– Я кто? – спросила она грубо и громко, можно сказать, на всю степь-пустынушку, и мне даже показалось, что та всколыхнулась рыжим своим цветом и как бы чуть приподнялась.

– Родители-идиоты продали квартиру в Москве. Ехать к ним в деревню? Я что, ужаленная? Еще три раза замуж выйду, но назад ни ногой.

– Ну, хоть бы в гости приехала. Россия совсем другая стала (ну, кто из меня извлекает банальности?).

– С чего бы это она другая? С денег? С нефти?

– Вот бы и вышла дома за олигарха, раз тут не все получилось.

– С чего вы взяли? Может, я с этим еще останусь. Он хороший дядька, родители его – сволочи. Я им не подхожу. Он, дурак, страдает. Я ему говорю: насри! Чтоб задохнулись, жабы. Но у него *понятия*. Какой идиот придумал понятия? Бог? Так у него первый же внук – убийца. (Боже мой, я ведь только что об этом думала.) Ну, и где были понятия, если три человека на земле не могли в них разобраться. Каждый за себя. И нет закона слушать и почитать родителей. За что? За то, что родили? А я просила об этом? Это же им хотелось трахаться, ребенок – побочный случайный продукт. Вот и все.

И вдруг она зарыдала, громко так, по-русски, во всю ивановскую. Ее какой-то звериный вой поднял всех, вышел из машины ее мужчина, подошли мои, повернули головы верблюды, и только желтая пустыня не вставала стеной, не корчилась своим роскошным разноцветным телом, а Жанна, не переставая выть, пошла по дороге, за ней медленно ехал на машине муж-не муж, мои тоже стали мне махать руками: садись, мол. Так это и выглядело: две разьежающиеся машины и идущая с открытым воющим ртом женщина.

– Надо ее догнать, – сказала я племяннику.

– Ей есть кому. А нам в другую сторону.

– Но я хочу знать, сядет она в машину или нет, здесь же степь да степь кругом.

– Это не степь, а пустыня, – сказала жена племянника. – Здесь другие правила. Она сядет в машину. Деваться ей некуда.

«Ну да, – думаю я. – Не всколыхнулась пустыня, не встала дыбом. В царстве покоя и высокого, высокого неба вопль русской бабы, потерявшей себя и во времени, и в пространстве, – ничто. Я все время смотрела в заднее окно, я все-таки увидела, что она села в машину. Может, и сладится у нее тут в третий раз и не придется ехать к холодным финнам, которые вряд ли поймут идущее горлом горе. Именно оно шло из нее, а то я не знаю плач русских баб? Оказывается, куда бы ни занесла их судьба, кричат они одинаково. Великое русское плаканье, начавшееся в Путивле на городской стене. И нет ему конца. Степь ли, пустыня ли... Стонет русская баба во всех одеяниях и при разнообразных мужиках одинаково. Как волк в ночи... И это не интеллигентный цветаевский вскрик «Мой милый, что тебе я сделала». Тут кричит сама русская суть. Кричит Русь.

Скажут: клевета на русских женщин! Они некрасовские! Они тургеневские!

Да бросьте вы! В пустыне выла та русская, что способна на раз бросить детей, на два – родителей, на три – выбросить младенца в сортир. И это только часть правды о ней. Вот и кричит в ней вселенский стыд и позор страшней волчьего воя... Я слышала... Я увидела... Я знаю.

## «Разве что евреев можно поставить с русскими рядом»

Когда немцы оккупировали Украину, я была еще ребенком. Детское восприятие, оно, как известно, наиболее острое. Я не знала, что мама и отчим были партизанами, но хорошо помню состояние страха, в котором жили бабушка и дед – они-то знали. Помню, как угоняли немцы (куда – этого мы, дети, не понимали) мальчика-еврея, моего друга. А мы, ребятня, радостно так его провожали, долго махали вслед. Запомнила и то, как кормили нас немцы супом, и как мы, дети, этому супу радовались. Потом, когда пришли эсэсовцы, я поняла, какой разной бывает война.

*(«И вся остальная жизнь»)*

*...Война – в этом ее ужас – открывает для человека право убийства независимо от человеческих качеств ни убиенного, ни убивающего. В момент войны люди как бы не люди.*

*Старую еврейку немцы, подвязав веревками под мышки, опускали в шахты, чтобы проверить, есть ли в шахтах газ. Это повторялось много раз, каждый раз старушка оставалась живой и, бросив законченное дело, они оставляли ее с веревками на земле. Я это видела. Никто, ни один русский или украинец – евреи все были убиты, – не кинулся к ней, чтобы хотя бы узнать, жива ли она еще. Она была жива, но в конце концов сошла с ума и не снимала с себя веревки.*

*Я дергала свою бабушку за юбку. Мне хотелось снять с нее веревки. Она поняла меня и строго велела идти домой. И мы пошли. И бабушка сказала мне: «Каждого, кто подошел бы, расстреляли». Значит, мы думали об одном и том же: ей тоже хотелось снять веревки.*

*Сейчас половина моих друзей живет в Израиле. Мы уже плохо понимаем друг друга, когда друзья объясняют мне, что с арабами дружить нельзя. Как бы неприлично.*

Девчонкой я поняла: можно сотворить большие безобразия, но улицы будут стоять как вкопанные. Как они не пошевелились, когда пришли немцы. А вот когда по улице повели евреев со звездами на рукавах, дома осели, заборы выгнулись, мир стал отвратительно другим на те двадцать минут прохода евреев по улице. Мы стали другими. Мы были уродами в этот момент, потому что есть вещи, изменяющие саму природу мироздания.

*<...> И если завтра по улице поведут клейменных евреев ли, чеченцев или цыган, боюсь, что не вздрогнет мой народ, не исказит его внутренняя боль. Он теперь другой. Он сам не один раз ходил на заклятие. Он давно жертва, а потому и жесток до крайности.*

*(«Печальась и смеясь»)*

*...Он рассказывает о себе, что в девяностом году в Израиль эмигрировала его жена с родителями, а он уперся рогами, хотя увозился мальчик, сын... Потом не выдержал разлуки, рванул к ним через год – и выдержал месяц.*

*– Очень сильно восток, – объясняет он, – низкорослый, широкий в бедрах. Оговариваюсь, не о Тель-Авиве и Иерусалиме речь. О провинции, которая и есть страна. Шумная, с русско-украинским акцентом. Религиозные еврейки в черном выглядят среди оливок, как принцессы крови на Привозе. Застал войну. Надевал противогаз сыну. Хотелось умереть сразу. Стал уговаривать жену вернуться. Видели бы вы ее потрясенно гневные глаза. Я понял, что понятие голос земли, крови – это, конечно, мистическое, но одновременно абсолютно физиологическое понятие. Ей, девочке из Москвы, именно эта страна была по размеру, в ней ей было удобно, комфортно, принцесс на Привозе она не замечала, она сама была принцессой в ее понятии. Я, конечно, уехал с тем, что называется разбитым сердцем. Потихоньку оживляюсь. Жизнь здесь, как бы ее ни назвать, идет, на мой взгляд, в нужном направлении. Я переучился, познал бан-*

ковское дело, кончаю академию экономики и бизнеса. Сейчас мог бы дать своей семье и здесь самое необходимое, все, кроме родины, которую они обрели. Евреи – это ведь, по сути, те же русские, живут с тараканами в голове. Ах, березки! Ах, черный бородинский! Ах, шабад – ты моя религия! Два великих придурковатых народа и между ними Христос, величайший диссидент своего времени, ставший между ними китайской стеной.

*(«Время ландшафтных дизайнов»)*

*Нет более спаянных в средостении народов, чем большие мы разбегаемся, тем сильнее натяжение. Есть в этом божеское предопределение: евреи не поняли Христа, не признали за своего, а мы стали христианами. Русский с китайцем братья навек – это песня. А русский с евреем – это жизнь, это – никуда не денешься, даже если разобьешь к чертовой матери горшок и эмигрируешь. Все равно он – там! – будет сидеть, прильнув ухом к приемнику, а я здесь вымерять кусочек пространства на карте, которое никакого географического отношения ко мне не имеет, но что делать – это кусочек меня.*

...Нелепое слово «выкрест» мать как-то коробило. Глупое слово. Потому как по нынешним временам смысла в нем ни грамма. Ну, скажи «еврей», что плохого? Непьющий народ, культурный, вежливый, взял десятку до десятого – день в день вернет. Зачем же она это подчеркнула? Мол, не бойся, мама, не украинец-велосипедист засратый, не этот промежуточный кацап Олег, играющий на баяне... Значит, был в этом слове «выкрест» еще не ведомый матери смысл, но ведомый дочери. Может, он любил ее крепко, может, играл не на баяне, а на скрипке, может само слово с корнем крест несло некоторую положительность изначально. И тут она вспомнила, что Соня не раз проговаривалась, что есть у них на работе мужчина, серьезный такой, как папа. А еще однажды спросила: как ты относишься к евреям? Хорошо, ответила мать, даже очень. «А некоторые люди нет». – «Ей Богу, такого не видела и не слышала. Вот наоборот, знаю: многие еврея ищут, хорошие мужья, хорошие отцы».

*(«Нескверные цветы»)*

*(Из письма Людмиле и Борису Коварским, Беэр-Шева, Израиль)*

*...Люди кидаются друг на друга в прямом смысле, каждый готов как бы убить. Каждый как бы созрел. В этом апокалипсисе живем...*

*Впрочем, у вас тоже не рай. И глядя на вашу толпу, я не вижу большого отличия. Более того, оказывается – я так вывела – у еврейской и русской толпы есть три общих признака: эмоциональность, самомнение и дурь. По отдельности все такие умные (евреи в смысле), а русские как бы ленивые и нелюбопытные, а вместе – то самое слово... Опровергните меня, я все еще природа обучаемая.*

*(Из письма Аиде Злотниковой, Реховот, Израиль)*

*...Я понимаю, сколь раздражающи могут быть мои советы, тогда плюнь на них. Ибо нет ничего проще учить жить, уж кто-кто, а мы в этом преуспели больше других народов. Разве что евреев можно поставить с русскими рядом. Про всё все знают, умники!*

## Лизонька и все остальные Фрагменты романа

...С мужем своим Иваном Ниночка уже к этому времени разошлась, паразит Сумской даже успел погулять и снова жениться во второй раз, жена его вторая, еврейка, жила совсем недалеко, в одном водопроводе воду с ней брали. Нюра испытывала ко второй женщине бывшего зятя даже некоторую нежность. Нашлась же, скажите, еще большая, чем Ниночка, дура и подобрала этого шаромыгу. Ко времени немцев росла уже у еврейки девочка Роза, кудрявенькая и губастенькая, как негр. Ниночка же возьми и приведи в дом Розу. Не своим голосом закричала Нюра: «Ты что ж себе думаешь, дочь моя дубиноголовая?» Ниночка же только глазом зыркнула, а потом под нуль сняла у Розы волосы, можно сказать, соскоблила их до белого цвета кожи, одела девчонку черт знает в какие ремки, посадила на тачку и отвезла в неизвестном направлении.

Хитрость заключалась в том, что ни один человек не мог заподозрить в спасении именно этого ребенка Ниночку. Тем более что на еврейку она всю до войну просто не смотрела и, когда той на спину нацепили желтую звезду, делала вид, что так, мол, ей и надо. Люди очень хорошо понимали Ниночку: все-таки хоть и нестоящий Сумской человек, а уходить к еврейке от Ниночки, даже через промежуточных женщин, значит наносить последней сильный удар по самолюбию и даже слегка по национальной гордости. Поэтому, когда энтузиасты движения за чистоту рас стали искать пропавшую Розу, во двор Рудных никто и зайти не думал, а ведь видели, как Ниночка рано утром везла кого-то на тачке.

– Кого это ты везла, Нинок, во вторник?

– Здрасьте вам! Это ж я Лизку катала!

– А чего это ты такую здоровущую девку катаешь, надрываешься?

– Здоровущая, скажете? – тараторила Ниночка. – Большая вся! Малокровная, сил нет!

А аппетита никакого ни на что...

Ниночка подтаскивала для убедительности Лизоньку, которая, ничего не подозревая, читала себе в углу любимую книжку «Барышня-крестьянка» – на ней она и грамоте выучилась, – заворачивала дочке веко так, что смотрящему на это делалось страшно, и ничего не оставалось, как убедиться в разрушительной силе детского малокровия.

Но когда Ниночка перестала ходить ночевать домой, Нюре пришлось придумать для людей, будто Ниночка по молодости тела стала погуливать. На всех углах плакала она горячими слезами над пропадающей Ниночкиной женской порядочностью. Кого у нее только нет, плакала, говорят, даже итальянец один есть... Не гребует, сучка такая, никем...

Тут, надо сказать, в легенде произошел перебор. Поэтому, когда пришли наши и чисто-сердечную деятельность отряда имени Щорса райком партии не утвердил, поскольку не было там их представителя, слухи о плохом поведении Ниночки, распространенные лично матерью, не просто остались, а хорошо проросли.

Пришлось Ниночке даже уехать, так как молодежь из их шалашового отрядика, которая рисовала там какие-то листовки, защитить ее не смогла, их тогда тоже взяли к ногтю.

– Не было вас, и все!

Уханев, здоровенький и крепенький, как раз к тому времени вернулся и появился у них во дворе, весь такой гордый и брезгливый, и уже в больших орденах.

Нюра сказала Уханеву то, за чем он и пришел.

– Никаких отрядов тут и близко не было. Нинка? Да бросьте вы и думать! Шалава она у нас. Вот еврейского ребенка спасла, то чистая правда.

И она вывела вперед Розу, которая жила уже у них, обросла черным волосом и не имела ничего общего со своим отцом-украинцем, а была с виду типичным представителем материнной национальности.

Уханев тяжело задумался, что само по себе ничего хорошего сулить не могло. Вот тогда собрали Ниночку по-быстрому и купили ей билет в Москву, где к тому времени сильно пошла вверх по партийной линии их младшенькая, Леля.

...А в апреле, когда копали огород, у Розы случилась тяжелая пневмония, думали, не спасти девочку. Детский врач Полина Николаевна так им и сказала: «Девочка не жилец, а медицина тут бессильна. – И добавила: – Но она же не ваша?» Нюра просто спятила и все кричала: «Ищи Фигуровского! Ищи Фигуровского! Не наша! Кто ж тогда наш?»

Господи, нашла что предложить. Как и где найти этого еврея, что лечил еще их детей? Да его и на свете, наверное, нету. Тут и время шло, и события были непростые. Фашизм, например... Но оказалось, Фигуровский был жив, правда, уже не практиковал, а занимался на старости лет тем, что составлял картотеку своих пациентов. Чтоб было понятно – всего один пример. «Ф. И. О. Баранов Олег Николаевич. 1913 г. р. Асфикция. Пупочная грыжа. Водянка яичка. Короткая уздечка. Золотуха. Коклюш – 1918. Свинка – 1919. Скарлатина – 1923. Грипп – 1918, 1921, 1923, 1924. Онанизм – замечен 1922. Перелом ключицы – 1925. Предположительный срок жизни – 53 года. Причина смерти – почечная недостаточность».

Вся «баловная» деятельность старика Фигуровского вскрылась тогда, когда пошла эта кампания против врачей-евреев. Тут ему лыко и поставили в строку. Факт назначенной предположительной смерти был квалифицирован как заранее задуманный врачом-убийцей акт, который готовился им еще со времени нежной водянки яичка. Кстати, в жизни конкретного Баранова О. Н. вся эта трагическая история зимы пятьдесят третьего сыграла роль роковую. Местные чекисты показали Баранову, начальнику тамошнего ОРСа, выписку из дела его детского врача. Кстати, при этом присутствовал сам Уханев, который уже давно мелочевкой не занимался, но в истории с Фигуровским встал в центр нападения, так в нем выиграло ретивое. Так вот, в шуточной форме – там ведь у нас работают больше хохмачи – они Баранову по дружбе возьми и сунь в лицо бумажку: предположительный срок жизни – 53 года. Если уж совсем быть точным, то их всех до коллик развеселил детский онанизм Баранова, потому как был он мужик огромный, могучий, килограмм сто двадцать живого веса, а по части мужских органов, то, как теперь говорят уже наши дети, – ва-аше! Ну, как тут было не повеселиться. Кто ж знал, что у Баранова такие слабые нервы. Он только-только успел отметить сорокалетие, после которого имел такую почечную колику, что катался прямо по полу. Он тогда еще не пришел в себя от страха той боли, от кореженья собственного бессильного тела, которое в минуты приступа было похоже на тушу перед разрубкой. Одним словом, Баранов умер от инфаркта прямо в кабинете Уханева, что лишний раз подтверждает, с одной стороны, наивность Фигуровского, который в своих прогнозах исключал наличие уханевых и их влияние на продолжительность жизни, а с другой, говорит о потаенном коварстве людей еврейской национальности, которые могут косить, оказывается, наших могучих людей при помощи одной всего строчки в истории болезни. Ну? Это же надо так уметь! Уханевской команде для этого приходится ночами не спать, а этот старый, рассыпающийся на перхоть и суставы Мойша пишет одно слово, и мощный русский богатырь падает, как серпом подрезанный. Ох, и рассердился тогда Уханев, обидно ему стало за Баранова и за весь русский народ. Фигуровский же... Смешно сказать, он эту историю с убийцами-евреями пережил, и вернулся откуда надо, и стал требовать свою картотеку, и топал ногами на все того же Уханева, отчего тот был просто в шоке, потому что перестал понимать хоть что-то в этой раскоряке-жизни и выдал от непонимания и минутной растерянности картотеку, о чем очень пожалел лет через десять-двенадцать, кинулся ее искать, а уже ни Фигуровского, ни картотеки... Все! На месте же домика, где жил старый врач,

разбили, будто назло Уханеву, розарий. Тогда их шахтная область стала всю себя покрывать цветами. Такой был общественный настрой. Вот не росло, а будет! Розарий на месте Фигуровского ко всему прочему оказался образцово-показательным, что и спасло его от справедливого гнева Уханева. Будь он просто обыкновенный цветник, он бы вытоптал его, как то самое просо, которое сеяли-сеяли – вытопчем-вытопчем, а этот, куда водили иногородних гостей, тыча им в лица особенно удавшиеся сорта темно-малинового цвета, был уже вне его юрисдикции, или как там еще говорят по-ученому. Но это мы как-то очень убежали во времени, а когда Роза болела (Боже мой, опять Роза, бедный Уханев, сколько многозначительных совпадений может устроить жизнь) пневмонией, то Баранов еще только-только закармливал кабанчика для будущего своего сорокалетия.

Фигуровский приехал к ним на стареньком фаэтоне. Фаэтон стоял у него во дворе уже много лет. На случай. Лошадь же он брал у цыгана, который в обычное время впрягал ее в линейку и со своим выездом считался рабочим хлебозавода. На линейку ставили фанерный ящик с хлебом, и цыган развозил его по магазинам. В случае с Фигуровским цыган надел новую синюю косоворотку с поясом-шнурком и в таком красивом виде доставил знаменитого доктора к тяжело больной девочке. Врач Полина Николаевна со своего двора видела фаэтон и с насмешкой сказала своему мужу:

– Конечно, за живые деньги он пообещает им жизнь. Если бы мне платили в руки, я бы тоже была оптимисткой.

Фигуровский вылечил Розу. Уезжая в последний раз, когда Роза уже сидела в подушках, хотя большая ее головка еще не держалась на тонкой шее и сообразительная Нюра подкладывала ей на плечо вышитую крестом «думочку», он сказал старику:

– Память моя стала сдавать. Я не сразу вспомнил, что уже лечил вашу внучку. Она была до войны сильно кудрявой?

– Вот именно, – ответил старик. – Как африканский негр. Мы ее побрили перед тем, как спрятать в деревне. Ниночка, дочь моя, отвозила... А когда приехали забирать, волос рос уже прямой. Куда что делось. Так разве бывает?

– Ну, есть же! Почему вы, русские, задаете вопросы, если факты у вас перед глазами? Вам что, обязательно выдать справку?

– Но вы же тоже засомневались, не признали, – настаивал старик, значит...

– Я не сомневался, – важно сказал Фигуровский, – я не полагался на свою старческую память. Я их столько видел, этих детей, кудрявых и всяких. Что, я обязан всех помнить? В конце концов!

– Но, согласитесь, факт странный, – настаивал старик.

– Мало ли, – махнул цыгану Фигуровский, мало ли...

– Что я тебе говорила? – сказала мужу врач Полина Николаевна. – Я тебя уверяю – это был безнадежный случай. Я этих пневмоний навиделась, наслышалась!

С Полиной Николаевной потом в деле Фигуровского произошла непредвиденная Уханеву странность. Полина Николаевна стала кричать ему, что таких врачей забирать – совести не иметь, что на Фигуровского надо им всем молиться, что только такое бездетное – ты, случаем, не кастрированный? – мурло, как Уханев, может поднять на выдающегося Доктора руку. «Молюсь на него, молюсь!»

Полина Николаевна из тех мест, которые определил ей Уханев, не вернулась... Дочь Полины Николаевны стала впоследствии крупным специалистом в области мелиорации. Там у нее тоже возникла целая история, но ведь стоит только пойти по чужим следам, как не заметишь – уйдешь от своих. Поэтому с ними – все. Про мелиорацию другие знают лучше.

Роза же ела мед с алоэ и собачьим жиром, но считала его свиным. Нюра держала купленный целебный жир в отдельной банке и думала: Господи, и сбрешешь, и напридумаешь, и исхитришься, только чтоб спасти ребенка.

Поэтому Роза не ведала, что ест, и набиралась собачьей силы, которая впоследствии в жизни весьма пригодилась.

...Как ни странно, с Розой говорить легче. Может, Роза хитрее? Может, она думает: а перетерплю я нотацию бабки, меня ж не убудет? И терпит.

Они с дедом как дорвутся, самым потом тошно, сколько они девочке наговорят. И про то, и про се...

– Ты, Роза, пойми, евреев у нас не любят... Это не нами заведено... Откуда я знаю, почему? Я лично ни одного плохого еврея не видела, а русских и украинцев сколько угодно... Но так нельзя, Роза, понимать, что вы какие-то особенно хорошие... Это мне не попадались, а другим, наверное, попадались... Хотя что я говорю? Я тоже знаю за евреями черту – они неаккуратные. У нас заврайфо, Финк по фамилии, я им мед носила. Кровать у них – тихий ужас. Тяп-ляп одеялом накрыта, простыня из-под него торчит, подушки в кучу свалены, никакой самой простой накидки. Кровать, Роза, лицо квартиры. Вошел – и сразу видишь, какие тут люди... Да ладно, дед, я кончила, но это девочке тоже знать не мешает, у нее будет семья, и она должна будет знать, что что-то другое может подождать, а пикейное одеяло надо купить в дом сразу, и накидку, и чтоб все было на постели ровненько, ничего не дыбилось и не торчало... А вообще, евреи – хорошие люди, ты, Роза, это помни и сама такой будь. В том, что они не работают в шахте, я их не обвиняю. Зато они портные. Или взять врача Фигуровского... Ну? Это же он тебя спас. Но ты себя в жизни гордо не ставь из-за национальности. Взять меня, я – русская, дед – украинец, а какая разница? Даже взять тех же немцев... Я тебе скажу, среди них были замечательные люди. Один, Ганс, приносил нам во время оккупации гороховый суп в своем котелке... Просто так, ни за что... Так плакал, так плакал, когда уходил под Сталинград. «Капут, говорит, матка, капут!» Ладно, кончим эту тему, но ведь не мы ее начали? Не мы... Еще я тебе хочу сказать, главное в жизни – образование. Какая-то у человека ответственность должна быть обязательно, иначе он, как голый на морозе... Ну, других собственников не стало, значит, пришла пора набивать голову... Вот и старайся, учись... Я не знаю, что там ты себе надумала, но, по мне, эта твоя зоология и ботаника – не дело. Роза, это все само по себе живет, и без человека даже лучше. А дело должно быть такое, чтоб без человека оно просто не шло... Стояло как вкопанное... Это учитель. Или врач. Или инженер техники безопасности. Или строитель. Такое мое мнение. Не буравь меня, дед, глазами. Я не так часто разговариваюсь. Просто Роза – умница, слушает... А я плохого не скажу.

– Она, конечно, плохого не скажет, но в смысле профессий она человек темный. Нюра, не обижайся, у тебя даже церковно-приходская не кончена, а девочка уже в десятом. Я как раз за ботанику и зоологию. И так скажу – с людьми хорошо, а без них лучше. Нет, Роза, нет! Не в смысле против коллектива, куда ж без него, если на него ставка... Хотя... Хорошо, не буду... Живите так... Время покажет... Я в том смысле, что природа, она способствует умнению. Если с ней наедине... Взять ту же пчелу... Между прочим, коллектив... Только сейчас в голову стукнуло... Но у них так все разумно, и обязательно есть результат... Да не буду, не буду. Я к тому, что, если это изучать, то это не менее важно, чем врач или учитель... А ты, Нюра, придумала – инженер техники безопасности. Да сроду на этой должности у нас сидят полудурки. Потому как – какая там безопасность? Во всех делах по краю ходим, потому что ум давно отключен в работе. Не он царь и бог. Ты, Роза, не все слушай, что говорим, но слушай тоже. И буся, и я плохому учить не будем... Да иди гулять, иди! Кто ж тебя, дурочку, держит... Это мы что-то разговорились.

– Да что вы, что вы, мне интересно.

– Ну, спасибо, Роза, спасибо, иди, деточка, иди...

Нюра сказала старику:

– Вот уедет Роза, зачем нам жить? Сообрази своим умом. Смысла нету!

- Ты что, сама появилась на свет, по собственному желанию?
- При чем тут как я появилась?
- При том... Не сама появилась, не сама уйдешь... А как природой положено...
- Богом... Ты хотел сказать: Богом...
- Я сказал природой. Я соображаю, что говорю... Соображаю пока еще... Бог и природа – одно.
- Дурак, и уши холодные. Бог – над... Природа – его творение...
- Это ж кто тебе такое сказал?
- В первом классе церковно-приходской школы мне сказали... Может, дальше сказали бы что другое, но я на этом остановилась... Извиняюсь... конечно...  
Такие шли разговоры.

...А Роза, к слову сказать, за это время дважды замуж сбегала. Первый раз, пока старая барыня лежала с переломом шейки бедра в Боткинской, она привела за хозяйский шкаф – не падайте, люди, в обморок, не падайте, – негра. Такое началось, что Ниночка думала – все, сердце не выдержит и лопнет к чертовой матери. А эта кретинка висела на черной шее негра, целовала его в расплющенные губы и говорила: «Хочу родить еврейского негра. Это же не человек будет, а ядовитая смесь!»

Слава Богу, что шейки бедра у старых заживают плохо. Хозяйка так ничего и не узнала, потому что, когда, наконец, вернулась, Роза уже спала за шкафом одна и была вся потухшая, притихшая, задумчивая и без негра. Никто так толком и не знал, что там случилось. Лизоньке Роза потом сказала:

- Ну, захотелось... Понимаешь, захотелось негра... У тебя что, так не бывает?

Лизоньку всю прямо искривило от этих слов. Не подумайте, что она какая-то там нацистка-националистка, нет. Негры – тоже люди. Но постановка вопроса – захотелось! – это ведь ужасно. Конечно, Лизоньке можно было припомнить Жорика, который в этот момент сидел на какой-то льдине с сугубо секретными целями, но она сама про это давно не вспомнила и другим бы не дала. Из Лизоньки как-то очень удачно образовывалась эдакая хорошенькая шкрабская сволочь. Она не красилась – а зря, между прочим, – не одевалась модно, она как-то гордо заморозилась на полученном образовании, и ни шагу вперед. Одним словом, Лизонька вполне и окончательно стояла на краю бездны и не без интереса в нее поглядывала. И вот пока она занудно объясняла несчастным детям, чем отличается лишний человек Пушкина от лишнего человека Лермонтова во-первых, во-вторых и в-третьих, Роза снова вышла замуж, на этот раз вполне пристойно, за однокурсника, однолетку, он забрал ее к себе в отдельную барскую комнату отдельной барской квартиры, и Роза сказала: «Ничего себе хоромы». Лизонька хрустнула в этот момент всеми десятью пальцами сразу и, кто знает, может, это и было сигналом судьбе? Во всяком случае, на другой или третий день после этого к ним в школу пришел журналист местной газеты – искал героиню к восьмимартовскому номеру. На Лизоньку указали пальцем, она прямо просилась в героини – скромна, строга, справедлива, трудолюбива, добросовестна, идейно выдержана, устойчива в морали до такой степени, что людям от этого противно, но, если самому человеку нравится... Журналист пошел ее провожать домой, в арке дома поцеловал, не спрашивая разрешения и вообще без предварительной подготовки, просто привалил к стене дома и раздавил ей губы, прямо скажем, грубо, без изыска. Тут, конечно, дело темное, что пошло за чем... То ли Лизонька вспомнила, что целоваться с мужчиной приятно, чего уж тут скрывать? То ли журналист, прижимая к себе и стене замороженную шкрабину, уловил этот момент превращения куколки в бабочку, и это ему по профессии показалось интересным для исследования, но они стали так целоваться, как будто завтрашнего дня в их жизни не было, а было только сегодня, двор и подворотня, и надо было успеть, потому что дальше – конец.

... Было так. Заехала она как-то к ним проездом то ли на курорт, то ли обратно. Обратно. Черная была от южного солнца, как головешка. Бухнулась на кровать, любила она на их кровати поваляться. Я, говорит, тут восстанавливаюсь. Ну, восстанавливайся на здоровье, не жалко, только сними покрывало и накидку и сложи аккуратно. И на спинку повесь, да не абы как, комом, а сначала одеяло, а потом накидку, накидка же легкая, под одеялом она помнется.

Легла Роза, а они сели на стулья рядом, хорошо сели, радостно, такая Роза умница, заехала, не побоялась сделать крюк, небольшой, правда, но все-таки шестьдесят километров от магистрали вбок.

Она, Роза, возьми и спроси, первый раз за всю жизнь:

– А какая у меня была мама?

Ну! От Ньюры прямо пар пошел. Она ведь Розину маму так не любила, так не любила, это даже мягко сказано, хотя дело, конечно, прошлое, такое прошлое, что старик стал вспоминать и никак не мог вспомнить, а как она выглядела, эта вторая жена первого мужа Ниночки?

– Я тебе расскажу, – начала Ньюра. – Вот тут ты сидела, а Ниночка тебя под ноль стригла. Ты орала как резаная, и Ниночка заткнула тебе рот полотенцем. Ты красная стала, глаза выпучились, ну, а что оставалось делать? Спасать же надо было. Мама твоя, Ева, она сюда к нам приехала по назначению в школу. Она ходила в юбке и блузке, никогда я ее в платье не видела, а волосы у нее тоже были кучерявые, но не мелким кольцом, как у тебя, а крупным. Когда они шли вместе, твой паразит-отец, будь он проклят, и твоя мать, царство ей небесное, то они смотрелись хорошо. Такие оба высокие, фигуристые. Ниночка, правду сказать, с Ванькой не смотрелась, она у нас мелкая, сама знаешь, она была ему под мышку, и шаг у нее тоже мелкий, а у того крупный, получалось, что Ниночка за ним бежит, как собачка, – противно. Мы ей это сразу говорили. Он вообще был бабник, он бы и с твоей мамой долго не жил, это точно, у него с женщинами дело быстрое. Что называется, не было бы счастья, да война.

– Что ты такое лопочешь? – сказал старик Ньюре. – При чем тут война, тем более в таком глупом словосочетании...

– Я только в одном смысле, – упрямылась Ньюра. – В смысле перспективности этой семьи. Разве ты его не знал? Он же два пишет, три в уме! Нет, что ли?

– Роза спрашивает нас о другом.

– Пусть говорит все, – сказала Роза. – Не перебивай ее, дед.

– Вечно он мне затыкает рот. Всегда я у него дурочка. А я с Евой, мамой твоей, разговор имела, перед тем самым днем, как их всех увели. Уже было объявлено, и которые глупые евреи, то они собирали дорогие вещи на длинное путешествие, а Ева была умная женщина.

– И когда ж это ты с ней говорила, что я этого

не знаю? – Старик хмыкнул, потому что решил: Ньюра придуманной историей хочет скрыть факт, можно сказать, исторический – как она терпеть не могла Еву, потому что считала разлучницей. А это была чистая брехня, потому что уже за полгода до Евы Ниночка хлопнула круглым кулачком по столу и сказала: «Хватит с меня! Нажилась... И чтоб мои глаза его больше... Ни-ког-да!»

Лично он, старик, тогда испугался вот чего: не пойдет ли Ниночка по мужским рукам, как это бывало с другими разведенками? И кое-что с ней было, чего греха таить? И морду ей пострадавшие женщины-жены били, и его на базаре прилюдно за нее стыдили. Плохое было время, если вспомнить. До сих пор лицо запалывается. Все тогда совпало в минусе, и Колюнин скорый отъезд, и эта сволочь Уханев, и Дуськин арест, и вообще весь воздух жизни был мутный. С Ниночкой крепко пришлось объясняться. Позвал ее на пасеку. Не пойду, кричала, я их боюсь. Пчел, в смысле... Но он ей так спокойно, выдержанно сказал:

– Не того ты, дочка, боишься в своей жизни... Не того... Надо бояться стыда жизни, а не укусов полезных насекомых.

– А что я? Что? Я птица вольная!

– А вольная – лети! Земля у нас большая, есть где приземлиться. Но тут, под нашей общей крышей, я блядство не позволю.

– Ты, папка, материшься? Ты что?

– Вот именно... Матерюсь... Потому что нормальных слов оценить твоё поведение – нету. Поэтому приходится искать слова в местах, соответствующих поступкам...

Ниночка стала рыдать, нормальная реакция женщины на такой случай. Сказала, что сама решила уезжать отсюда к чертовой матери...

– Давай подумаем, куда, – сказал он ей. Спокойно сказал, хотя категорически был против. Она одна из детей с ними осталась, в Лизоньке они души не чаяли. Уедет, а оставит ли Лизоньку им? А если оставит, то ей самой большая опасность в жизни, потому как будет уже не свобода – воля. Куда она крутанет, эта воля, дело темное. Но не сказал он ей этого, а решил направить мысли дурочки в другом направлении.

– Уехать, конечно, можно, но лучше сначала овладеть хоть какой профессией.

– Ну, какой? – с тоской спросила Ниночка, еще не избавившаяся окончательно от отвращения к учению в семилетке. Вот тогда он ей и подсказал освоить пишущую машинку, работа чистая, интеллигентная, а в школе она была девочка грамотная. Вообще у них семья грамотная в смысле правописания. Только вот Леля всегда пишет «извените», хотя он ей несколько раз намекал, как нужно правильно. И действительно, машинописное дело у Ниночки пошло, коротенькие ее пальчики были ловкие и быстрые. Она приходила с работы удовлетворенная, бывало, они возвращались вместе, его бухгалтерия была рядом с их отделом.

Хорошо помнится, как они тогда увидели Еву. Городок маленький, все друг друга знают как облупленные. А тут идет стройная высокая кучерявая девушка с умным лицом еврейского типа. «Новая география в школе», – сказала Ниночка. Значит, слух уже пошел. О, Ваня, Ваня, где тебя черти носят, если ты живой? И на каком ты небе, если мертвый? Такого, как он, кобелюстого мужика, у которого другого нюха, как на женщину, в жизни не было, старик не знал. Во всяком случае, пропустить мимо пальцев высокую географичку с умным еврейским лицом он, конечно же, не мог. Вскоре он с ней записался в загсе чин-чинарем и стал ходить всюду под ручку, а ходить до войны у них, как это ни странно, было куда, еще не все сломали до основанья, и был у них ресторан с белыми скатертями, и было кафе, и был Дворец культуры, где был прекрасный хор под руководством Исаака Моисеевича Кагановича. Все спрашивали его – не родственник ли он *того* Кагановича, на что Исаак таинственно надувал щеки – понимай, мол, как знаешь. То, что он непородный Каганович, выяснилось очень скоро, когда его выпихнули в грудь из единственного эшелона, ухотившего от них в эвакуацию. Комплектацией этого эшелона занимался, естественно, Уханев, и раз он вытолкнул семью этих Кагановичей, значит, был уверен, что *тот* Каганович в претензии не будет. Поэтому после войны никакого хора в их городе больше нет, как нет и ресторана, и кафе, а есть одна столовка, от которой разит, хоть святых выноси.

Вообще с этой химерой превращения деревни в город стрезва не разберешься. Значит, были они когда-то деревней. Все на ее земле росло, и овечки бегали, пока не стали копать шахты оборотистые англичане. Но шахта не сразу забыла, что произошла из земли, где все росло и бегали овечки. Какие у них в поселке были до войны базары! Ну – все! Овощное и мясное, и рыбное из недалекого Азовского моря. Все дело в том, что колхозы тут были слабые, никакие, можно сказать. Советская власть двумя глазами глядела только под землю, в «добычу угля», и не обращала внимания на человеческую хитрость, которая так сумела, что и в шахте уголек рубала, но и огородик содержала в порядке. Вообще у старика была всего одна выношенная до конца и полного завершения мысль. Другие мысли, как правило, конца не имели – они или вообще обрывались, или от неясности мочалились. Так вот. Он считал, что люди в их краях держались и не курвились дольше других именно потому, что тут лучше пита-

лись от собственного труда. «Бытие, – думал старик не по Марксу, – не сознание определяет, а душу. Сознание – вещь хитрая и промежуточная, в чем-то оно и подлое, так как способно хоть в чем человека оправдать. Если говорить откровенно, то сознание в жизни – адвокат, а душа в жизни – судья. Тогда кто прокурор, возникает вопрос, если уж идти в мысли до конца? Жизнь! Сама твоя жизнь тебе и прокурор, и приговор, но до того за тебя бодаются, будь здоров как, – адвокат и судья. Так вот, если человек живет в человеческих условиях, обут, одет, сыт, и почитать ему есть что, и развлечься есть куда пойти, у человека вся эта троица – адвокат, судья и прокурор – могут себе полеживать. Потому что человек спокоен. А как начнет душу крутить, тут как раз и появляется сознание... Маркс по причине своей, видимо, нормальной по человеческим меркам жизни просто не знал, как это бывает, когда болит душа. Он ковырял свою неподъемную науку про „сапоги-холст“, „холст-сапоги“, – пропади она пропадом! – но лучше, чем придумал сам человек, ничего не придумал. А лучше – когда душа покойна».

На их поселке, который потом стал натужно выбиваться в город, можно всю политэкономии изучить без учебников. Были базары, и случая не было, чтоб где-то был брошен дитенок на произвол судьбы. И даже с образованием четыре класса люди снимали шапку перед старшими и говорили: «Здравствуйте вам». Полная вакханалия началась уже после войны, и удержу нет ей до сих пор. Тут тоже есть одна недодуманная мысль. Почему так расцвело воровство именно после войны, дойдя уже в наше время до размеров таких, что иногда думалось: не погибли ли мы уже окончательно, весь советский народ, если мы – такое ворье? Может, это справедливо – на нас бомбу, как на чуму, холеру? Чтоб спалить до чистоты первозданной природы? Вдруг мы вселенская зараза?

Так вот. Воровство пошло именно после войны, потому что народ-победитель, убедившись, что властям это все равно, победитель он или нет, инстинктивно стал брать что плохо лежит, этим самым как бы восстанавливая справедливость по отношению к самому себе. Но это так... Мысль недодуманная, а надо возвращаться в довоенную, когда люди могли уходить из дома, закидывая на двери алюминиевый крючок, а ворота задвигая деревянным засовом, доступным для любого ребенка. Конечно, не надо забывать, что кое-где запоры и засовы были будь здоров, и уханевское хозяйство работало без выходных, но базары и совесть тоже еще были. Вот именно тогда в один из дней Ваня Сумской гордо вез на подводе в роддом беременную Еву. Наш народ зоркий и подмечающий, он тут даже сопоставил факты, что ни первую жену, а у него была и первая, ни Ниночку Ванька на подводе не возил, они сами, собственными ногами шли туда, куда звала пробуждающаяся жизнь. Именно этот факт сыграл решающую роль в отношении к Еве Нюры. Конечно, ей стало обидно за дочь, чем она была хуже? И Нюра запалилась ненавистью к Еве, Розиной маме. А тут сейчас в разговоре, пока Роза лежит на их кровати, выясняется, что они встречались – Нюра и Ева. Уже тогда, когда огнем горела на Еве желтая звезда.

– Жуть, – сказала Нюра. – вспомнить – жуть. Прибегает ко мне сама не своя Ароновна.

– Кто? – не понял старик. В Нюрины речи бывает трудно войти и сразу все понять.

– Ну? Ты дурной? Мать Кагановича. Ты, наверно, совсем забыл его, а Роза вообще не знает... Был такой, во Дворце работал... («Ха! – подумал старик. – Я только что о нем тоже вспомнил». ) И говорит: «Или вы спасете моих внуков тоже, или я расскажу, что ваша дочь спрятала дочь Евы. Это нехорошо, конечно, это грех страшный, но у меня нет другого выхода...» «Ароновна! – говорю я ей. – Сообрази своей головой, кому от этого будет лучше?» – «А мне уже все равно, – сказала сумасшедшая Ароновна. – Если гибнут Нема и Сара, пусть гибнут все». – «Нехорошо говоришь! Но я тебя понимаю. Ниночку больше не трожь. Она сделала все, что могла. Теперь я тебе дам один адрес... Это бывшая моя деревня... Там людей, считай, нет, извели всех, но мы в бывшем огороде картошку еще сажаем, а когда дождь или что, прячемся возле гребли, там наш сарай стоит еще от моего деда. Вы там пока сховайтесь, место ниоткуда не видно, а дальше посмотрим». Я ей нарисовала путь, – продолжала Нюра, –

но Каганович ведь был дурак. Палочкой он туда-сюда еще умел, а больше в жизни ничего не соображал. Он напустился на свою мудрую мать, что она недооценивает немецкой культуры и схожести их языков, немецкого и идиша.

– Этого ты знать не можешь, – сказал старик. – Тебя не было при их разговоре.

– Так Ева была! – сказала Нюра. – Она мне рассказала, и еще она сказала, что порвала ту мою бумажку с описанием дороги на мелкие куски. Она ведь думала, что мы и Розу там ховаем... Чтоб, не дай Бог, на след не навести. Она пришла ко мне, когда затемнелось. Подошла и в кухню стукни в окно, пальцем меня на огород выманила.

– А где ж мы были? – спросил старик.

– Так удачно все получилось. Ты медогонку чинил. Помнишь, она у тебя крутиться перестала? И ты сказал: надо заразу разобрать. Другую не приобрести. А у Нины на шее был такой чирей, как раз после того как она Розу отвезла, аж страшно. Я боялась, что столько гною близко к мозгу. А Лизу мы вечером гулять не выпускали. Помнишь, Романчуки внучку выпустили в уборную – и как в воду канула? И вот, Ева прямо на огороде встала коленями в землю и поцеловала мне руку. Я чуть криком не закричала. Что ж вы такое делаете со мною, говорю я ей. Я же тут ни при чем, это дочь моя Нина взяла вашего ребенка себе на голову. Прости, Роза, именно так я сказала, потому что это чистая правда, я так думала. А она мне, Ева: я знаю, как вы ко мне относитесь, и не обижаюсь, люди разные, и не могут относиться друг к другу одинаково, они вполне могут одних любить, а других даже ненавидеть. Но это же не значит убивать. И она это клекотом каким-то сказала, как птица какая... А я – ей: так это ж фашисты... Господи, сказала она и поднялась с колен, спаси их всех, и поклонилась нашему дому, мне, даже, извините, уборной, и говорит: храни вас всех Бог. А Розе скажете, я там буду думать о ней всегда. А я ей – вы верующая? Вы же учительница географии? Тогда скажите, если земля круглая, где же Бог? Бог, говорит, это добрые поступки. Ваша семья – Бог. Тю на вас, говорю я ей. Я все-таки крещеная, православная. То, что вы говорите, – грех. Потому что люди – все грешники. Давайте я вас перекрещу, а то вы еще и не такие глупости скажете, а мне за вас отвечать. И я ее перекрестила, и поцеловала, и по звезде ее желтой погладила. Иди, говорю, Ева, с Богом! Розу твою не оставим. Не такая мы семья. —

Тут Розу так начало колотить на кровати, что страшно стало.

– Розочка! Деточка! – держал ее старик. – Так это ж когда было! Успокойся себе на здоровье. Посмотри на себя в зеркало, ты уже взрослая женщина, у тебя диссертация на мази, ты, если честно, уже и не помнишь ни войну, ни свою маму. Ты просто на курорте злоупотребила солнцем, и от этого у тебя нервная реакция...

А Розу подолжало гнуть так, что Нюра сказала:

– Бери белую чистую простыню и накрой ее, а я сниму икону. Это похоже на родимчик, только я сроду не знала, что это может быть у взрослых. Но кто его знает, она детство свое вспомнила и болезнь оттуда вызвала.

Но Роза вдруг выпрямилась, глаза огромные, и свет от них идет такой жуткий, не светлый свет, одним словом.

– Ненавижу! – сказала. – Ненавижу! Ненавижу этот мир, где с людьми можно поступать как угодно. Убивать за то, что черный, носатый, рыжий, картавый, за то, что не так сказал, не так подумал. И конца и края этому нет. Одни уходят, а другие приходят, и все одно: убить! придушить! сломать!

– Ты не права, Роза, мы фашизм победили!

– А где ваш Колюня? Где? А где мой приятель, которого взяли за то, что он поэт и писал задом наперед. Нет! Нет! Этому нет конца. Да спрячьте вы вашу дурацкую простыню! Никакого у меня родимчика. Просто во мне сейчас что-то кончилось, а что-то родилось...

– Ну, Роза, ты горя не знаешь... Если так говоришь... Мы тебя что – плохо кормили? Или одевали хуже Лизоньки?

– Да Господи. Разве я про вас? Родненькие вы мои! Какое нынче число?

– 21 августа, Роза.

– Замечательно. В этот день шестьдесят восьмого года ваша приبلудная Роза родила злость. Я иду, дедуля, на них на всех.

– На кого, деточка?

– На человеконенавистников. Какую бы они форму ни носили. Фашисты, коммунисты, буддисты, анархисты... Дедуля! Я готова...

Такое началось с ней горе. А разве для горя они ее спасали? О ней потом даже в газетах нехорошо писали, мол, клеветница и прочее. Леля, конечно, раз и навсегда: через порог моего дома эта потерявшая совесть ни ногой. Она не просто от Розы отреклась, она еще и написала, куда надо, объяснив подробно, что неблагодарную девчонку в войну спасли простые советские люди, а она им вместо спасибо – позор на голову. Ниночка тогда как выпрыгнет, как выскочит!

– Это, – закричала, – при чем? Да, я спрятала младенца, так что, по-твоему, теперь этот выросший младенец не может думать как ему думается?

– Не может! – кричала Леля. – Он должен все помнить и говорить спасибо!

– Да пошла ты в задницу со своим спасибо, если оно человека по рукам вяжет. Это уже не благодарность, хомут какой-то, а не свобода, о которой ты больше всех трандишь.

С их Ниночкой, конечно, тоже не соскучишься. Поперек себя шире, все ногти в навозе, одышка страшная, хотя какие там годы, а криком кричит о хомуте и свободе. О какой, детка? Ну, ты разве не свободна? Смотри, у тебя во дворе все прямо поет от высокой урожайности. Муж тебя любит, хоть обнять тебя можно только сегментарно. Дети – слава Богу. Тогда еще Лизонька замужем не была, и упор старики делали на ее диплом с отличием, не какой-нибудь периферийный, а московский, университетский. Роза – тоже в полном порядке в смысле жизненного положения. Объясни, Ниночка, зачем ей эти диссиденты, будь они прокляты? Не тридцать же седьмой? Все-таки полегче в смысле дыхания. А эта толстуха Ниночка кричит: «Кто-то в семье должен долбить стену!» – «Зачем долбить стену в доме, где живут люди?» – «Человеку в жизни нужно иметь хотя бы два выхода. Хотя бы два!» – «Зачем, Ниночка, ходим в одну дверь, и слава Богу!» – «Папа! Тебе это не понять, поэтому не вникай. Просто помни про Дусю, Колюню, Еву, и все. Помни и благослови Розу!» – «Девочки мои, не было бы беды...» – «О, папа! Какой тебе еще беды?»

...Машина – это счастье. Сил на электричку уже не хватило бы. В пластмассово-дерматиновом уюте Розу отпускало. Легче всего отпускало в плохую погоду. Тогда казалось – дождь, ветер, грязь – вне. Вне – это прекрасно. Так бы ехать и ехать без конца и края и непринужденно, легко переехать невидимую черту, которая между тут и там... Все равно же когда-то переезжать. Так хорошо бы совершить это в машине. Чтоб никому не было хлопот и было как в этом ненавидимом почему-то с юности романе: а был ли мальчик, а может, мальчика-то и не было? После Нины у нее всегда болит славянская часть ее души. Странное дело, но именно с этой ее болью ей не к кому, что называется, подсыпаться. Муж у нее лапочка по всем меркам еврейского благополучия. Учен, устремлен, порядочен, он так хорош в работе, в профессии, что даже выше антисемитизма. Она никогда выше не была. Она, полукровка, всегда в пике этих проклятых вопросов. Вечно ее гонят, вечно она в конфликте, а Игорь... ну как бы это сказать? А никак. Он при деле. Двадцать четыре часа в сутки при деле, а она при жизни. А наша не к ночи будь помянутая жизнь никакого отношения к делу не имеет. Она растворена даже не в безделье... Куда нам до добрейшего и светлейшего Ильи Ильича Обломова? Мы в ключьях субстанции, которая есть то, что мы могли сделать, а не сделали, мы в ошметках недолюбви и недодружбы. Разрушенные жучком страха, мы склеены и залатаны – о Боже! – тем же страхом, который назвали «не было бы хуже», но куда хуже, если мы злеем, злеем в этом полу-

воздухе и наши слюнные железы стали вырабатывать желчь и ненависть, которую мы сглатываем, сглатываем... Что мы? Кто мы?.. Ну что, машинка моя? Слабо тебе переехать ту черту, за которой должно быть иное?

Но тут вступает сопрано еврейской неверящей части души, и она ясно и четко отдает себе отчет – там ничего. И это ж какое надо иметь человеку сердце, если, зная, что там – ничего, пихать соседа в душегубку, устраивать ему тихий ад здесь? Там – ничего, а здесь пусть будет как можно хуже? Это ведь человек придумал, это его извращение, если исходить, что Бога нет. И это прогресс? Слезть с дерева, взять в руки палку только для того, чтобы убить ею слезшего с другого дерева? Но ведь тогда все – полная чушь. О! Где ты, моя славянская душа? Сбей с толку свою другую половину, объясни ей, дуре-жидовке, что есть Бог и есть то, что за чертой. И там моя бедная мама...

...И поехала дочь... Вернее, полетела... Стояли с Розой, сцепившись руками. Мужчины, те как будто каждый день провожали близкого туда, а они с Розой, ну что там скрывать, как будто это их смерть. Анька веселехонькая, хорошенькая, волосенки по ветру чистые, светлые... Доча моя, доча! Ну куда же это ты? Да что это я, дура, наделала! Господи! Да на черта нам эта Канада?

– Перестань! – прошипела Роза и ногтем кольнула в ладонь. – Все правильно! Все!

– А вдруг не вернется? – застонала Лизонька.

– Вернется, – сказала Роза. – Вернется. Куда ей без нас?

– Все-таки родина, – сказала гордо Лиза и покраснела, потому что вдруг поняла, что она это притащила за уши, для веса. Мол, мать, отец – это еще не все. Есть еще гиря потяжелее...

## **«Еврей – человек поступка»**

**(Из больничного дневника)**

И тут на тебе! Через час. Есть у меня два великих и могучих – русский язык, коим я наслаждаюсь, и человек-еврей, который никогда не был просто евреем, а всегда нес надежду, добро и веселье. Мунблит, царство ему небесное! Вся моя еврейская компания в Челябинске. Я – центр, а они поющие вокруг меня «Хава нагилу». Не было от евреев мне зла. Никогда. Только свет и доброта.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.